

В. Короленко

Братья Мендель

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
В11

В. Короленко
В11 Братья Мендель / В. Короленко – М.: Книга по Требованию, 2021. – 50 с.

ISBN 978-5-4241-2774-8

Владимир Галактионович Короленко - яркое явление в истории передовой русской мысли и культуры. Неугомимый общественный деятель, страстный защитник угнетенных, пламенный оратор и публицист, талантливый журналист и редактор, он был, прежде всего, замечательным писателем, убежденным демократом и гуманистом. Через все свое творчество он пронес непоколебимую верность идеалам правды и добра, любовь к простому народу и убежденную веру в его силы и богатейшие возможности, яростное отрицание несправедливости, общественного и социального зла стоящего на пути человека к счастью

ISBN 978-5-4241-2774-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В. Короленко, 2021

Владимир Короленко
Братья Мендель

Рассказ моего знакомого

I

...Вы знаете, я родился и вырос в так называемой теперь «черте оседлости», и у меня были товарищи, скажу даже друзья детства — евреи, с которыми я учился.

Наш город был один из глухих городов «черты». В то время как в других местах и костюмы, и нравы еврейской среды уже сильно менялись, — у нас, несмотря на то, что еще не исчезла память о драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов, — особенности еврейского костюма уцелели в полной неприкосновенности. Полицейские облавы прежних времен имели исключительно характер «фискальный». Еврейское общество платило, что следует, и после этого все опять шло по-старому.

Впрочем, я уже не помню этих облав. Прогресс брал свое: «фиск» принял менее дикие формы.

В нашем городе было несколько хедеров и одно еврейское ремесленное училище. Оно было основано каким-то филантропом, уроженцем города, сделавшим карьеру в других местах, частью даже за границей. Он с сожалением смотрел на ту отсталость, в которой коснели евреи на его родине, и находил, что они слишком исключительно предаются торговле и мелкому гешефту. В талмуде говорится: почернеют лица у народа, преданного исключительно торговле... Это тоже одно из проклятий изгнания, предсказанное еще Иакову. Чтобы ослабить тяжесть этого проклятия, филантроп решил поощрять ремесла и постепенно ввести в косную среду элементы светского просвещения. В училище преподавали общеобразовательные предметы, арифметику, немного физики, алгебру и геометрию.

Но все это нужно было делать с разумною осторожностью, чтобы не отпугивать среду: в школу ходил также меламед, и в известные часы, в промежуток между другими уроками, из классных комнат несло тонкое, многоголосое жужжание. Высокий носовой тенор меламеда речитативом произносил какой-нибудь стих, а затем класс пел, чмокал и жужжал нараспев соответственную «тосефту». Младшие ученики ходили в долгополых кафтанчиках, в ермолках и отращивали пейсики. В старших классах, ввиду удобства для работы, воспитанники носили рабочие блузы, пиджаки и даже порой щеголяли в крахмальных воротничках и котелках. Это уже был прогрессивный компромисс, и старики неодобрительно качали головами.

Во главе школы стоял господин Мендель.

Это был человек очень подходящий для своей роли. При самом основании школы филантроп прислал его откуда-то из других более цивилизованных мест. Он носил старозаветный еврейский костюм: долгополый кафтан из тонкого сукна, сшитый таким образом, что он одновременно напоминал и лапсердак, и европейский сюртук. В официальных случаях он надевал настоящий сюртук. Изпод его жилета, когда он вынимал часы, виднелись шелковые «щипсы», вроде моточков ниток, ритуальная принадлежность традиционного еврейского костюма.

Училище выпустило уже много ремесленников, и они пользовались отличной репутацией. На годичных актах присутствовали губернаторы. Тогда еще счита-

лось, что содействовать просвещению еврейской массы — полезно. Думали, что таким образом может произойти постепенная ассимиляция. Учеников школы охотно брали к себе помещики для разных работ в имениях, и при этом нельзя было иметь уверенность, что им не приходится порой вкушать «греш»; но в школе все обряды исполнялись строго, и сам господин Мендель никогда не пропускал ни шему, ни тефилы. Посетителям нередко приходилось ожидать, пока г-н Мендель с талесом и тфилим, похожий на ветхозаветного иудея, заканчивал свои молитвы, жужжа и покачиваясь на восток...

— О, Мендель-отец настоящий еврей! — говорили в городе. А настоящий еврей, как известно, исполняет ежедневно не менее ста заповедей... Так говорит талмуд...

Отца и матери я не помнил и вырос в семье дяди. У дяди и его жены была только одна дочь, и они любили меня как сына. Дядя по принципу воздерживался от проявлений нежности, которые считал вредными для мальчика. Тетка, существо очень доброе и любящее, отдавала мне весь избыток нежности, не ухидивший на одну дочь, и я совсем не чувствовал своего сиротства.

Дядя был видный чиновник либерального тогда акцизного ведомства. В этом ведомстве терпелась значительная доля свободомыслия, которое, по тогдашним взглядам, гарантировало от традиционного взяточничества. И действительно, дядя отличался в губернской среде значительной свободой взглядов и строгой честностью.

Однажды ему пришлось сделать в ремесленном училище большой заказ для канцелярий, и на этой почве он познакомился с г-ном Менделем. Сначала он сОездил в мастерские; посещение пришлось повторить для разных указаний, а затем между ним и Менделем завязались довольно близкие личные отношения.

Дядя, человек с небольшим образованием (он был, впрочем, вольнослушателем университета), много читал и имел большую склонность «к умозрительным наукам и отчасти даже к философии», — как порой выражался он сам. Религиозные вопросы интересовали его глубоко и сильно. Многие в том, что он читал, как я теперь вспоминаю, он понимал весьма своеобразно, но, во всяком случае, он выработал «своим умом» некоторую систему взглядов, вполне подходящую для собственного употребления и придававшую ему нравственную устойчивость и душевную ясность.

С г-ном Менделем они как-то скоро сошлись. Несмотря на разницу национальностей, у них оказались родственные натуры. Несмотря на искреннюю нажобность Менделя, в нем до известной степени чувствовалась та склонность к «разумному компромиссу», которая в сношениях с христианами выделяла его из фанатически правоверной среды. Целые вечера дядя и Мендель проводили в разговорах. Мендель хорошо знал талмуд и порой расцветивал свою речь повосточному яркими, своеобразными притчами и сравнениями. Дядя убежденно считал христианство лучшей религией и последним откровением, хотя и допускал, что в него проникли некоторые искажения. Порой он довольно горячо принимался доказывать эти преимущества г-ну Менделю. Последний осторожно, но очень убежденно отстаивал Моисеев закон. Впрочем, оба сходились на уважении ко всякой искренней вере. Так как индивидуальная мысль легко может приводить к опаснейшим заблуждениям и полному неверию, а полное неверие представлялось обоим самым худшим из душевных состояний, — то всего

осторожнее держаться той веры, в которой человек родился. Дядя допускал возможность перехода к «лучшей вере», но не иначе, как в порыве истинного религиозного пафоса и душевного просветления. У него, кажется, была некоторая надежда, что ему, быть может, суждено убедить таким образом г-на Менделя. У г-на Менделя такой надежды, конечно, быть не могло, и он был совершенно лишен прозелитизма. Он никогда не нападал, и если вступал в споры с дядей на религиозной почве, то лишь по обязанности «доброго еврея» исповедовать бога Авраама, Исаака и Иакова во всякое время и при всяких подходящих обстоятельствах. В этом было больше страха показаться отступающим от своего исповедания, чем стремления победить чужое... Говорил он необыкновенно спокойно и часто озадачивал дядю какой-нибудь яркой «гагадой», поражавшей восприимчивое воображение. Порой, после ухода умного еврея, дядя до поздней ночи сидел за своим столом, качаясь в кресле, или ходил из угла в угол, что-то обдумывая и подыскивая возражения. И потом они опять начинали спор с этого места.

Время в провинции, и особенно в нашем городе, без железной дороги, было глухое, и эти два человека поддерживали взаимным общением свои умственные интересы. На этой почве сближение между умным евреем и видным губернским чиновником росло, и вскоре они познакомились и семьями. Мендели стали появляться в нашей гостиной, где, конечно, им приходилось встречаться также с господами и дамами губернского общества.

Мендель при этом держался просто, но с той внешней, так сказать, традиционной почтительностью, под которой классовая или национальная подчиненность часто уживается с глубоким и спокойным самоуважением. В его приемах как-то едва ощутимо сказывалось как будто непрестанное сознание, что вот он, «простой себе еврей», сидит в гостиной или в кабинете у «гоя»¹, важного «пурица» и чиновника, и что для его долгополого кафтана, хотя и сшитого из тонкого сукна, — это большая честь... Но это была именно внешняя манера, своего рода национальная традиция, которую он носил вместе с долгополом кафтаном и व्यючимися пейсами. Ему же лично принадлежало то полное внутреннее достоинство, почти аристократическое спокойствие, с которым он проявлял эту традицию. В случаях, когда ему приходилось подкрепить какое-нибудь обещание, подтвердить торжественное заверение, — он произносил неизменную фразу:

— Как честный еврей! — Иногда это произносилось даже по-еврейски: «ви их бин а ид»... В этой формуле эпитет «честный» выпускался. Достаточно того, что говорящий — еврей! Этим сказано все, что нужно... Фраза звучала торжественно, почти гордо...

В его лице, тонком, довольно красивом и выразительном, еврейский тип сказывался довольно ясно.

Жена его была настоящая «дама», и по первому взгляду в ней трудно было признать еврейку. Она, очевидно, получила «порядочное», как тогда говорили, то есть светское воспитание где-то в Галиции, чисто говорила по-польски, а порусски с изящным польским акцентом. Единственная дань еврейским традициям в ее внешности, которую, очевидно, потребовало положение г-на Менделя, — был парик, которым она все-таки заменила свои, вероятно, красивые природные волосы. Но он не был гладкий, как у большинства замужних евреек. Она подбирала его так, чтобы он хоть до известной степени напоминал ее прежнюю прическу. В остальном она ничем не отличалась от наших знакомых дам, а своим

изяществом и манерами даже превосходила многих. Сознание этого сказывалось порой в удивленных, почти негодующих взглядах, которые невольно кидали на нее некоторые из посетительниц нашей гостиной.

— Эта еврейка держится совсем *en grande dame*...² — говорили слегка насмешливо дамы из общества. — Странная претензия!

Мужчины признавали, однако, что именно претензий в манерах красивой еврейки совсем не было заметно.

Но все-таки странно: несмотря на чрезвычайную независимость ее манер, в ней не чувствовалось все-таки того спокойствия, которое сказывалось под внешней почтительностью г-на Менделя. Ее красивые глаза порою нервно блестя, а лицо покрывалось летучим румянцем. Это было тоже почти неуловимо, но все же чувствовалось... И может быть, это нравилось в ней, как нравились и манеры ее мужа...

Говорили, что ее семья была когда-то очень богата, но теперь от этого богатства уцелели лишь остатки, которые она и принесла в приданое г-ну Менделю. Как случилось, что красавица и модница вышла за старозаветного еврея, хотя и образованного по-тогдашнему, но все же сильно отличавшегося от нее манерами, — сказать не могу. Может быть причиной была выразительная наружность, уважение, которое ему оказывали, наконец просто — воля родителей... Как бы то ни было, жили они, повидимому, согласно. Мои дядя с теткой шутили иной раз между собой, что г-н Мендель сильно влюблен в свою жену, и мне, помню, это казалось странно, как и то, что будто бы она держала своего уважаемого супруга под башмаком. В моем воображении эти романтические черты совсем не вязались с представлением о «настоящих евреях». Она, — это еще казалось возможным... Но г-н Мендель влюбленный и под башмаком... Но это, кажется, было так. И особенно это сказало в отношении к детям.

Однажды Мендели пришли к нам с двумя сыновьями и дочкой. Дядя позвал меня и сестру в гостиную и сказал серьезно:

— Ну, вот вам товарищи. Познакомьтесь. Я желаю, чтобы вы подружились так же, как дружны родители.

Дядя как-то тепло посмотрел на Менделя. Тот дружески, но все же почтительно кивнул головой и погладил свою красивую волнистую бороду. По лицу г-жи Мендель, как неуловимая зарница, пробежал румянец, и она значительно посмотрела на сыновей и дочку, как бы тревожась: поддержат ли они свое достоинство хорошо воспитанных детей.

Один мальчик был значительно выше и, повидимому, старше меня. Он походил на г-на Менделя, только черты были несколько грубее, движения угловатое и гимназический мундир сидел на нем чуть-чуть мешковато. Наружность младшего меня удивила. На нем был долгополый кафтанчик, какие носили младшие ученики ремесленного училища. Ермолочка покрывала коротко стриженную голову, и по сторонам висели пейсики. Эта разница в наружности двух сыновей объяснялась супружеским компромиссом. Первые годы учения дети проводили в хедере и только с известного возраста поступали в гимназию. Для старшего этот приготовительный возраст длился дольше, и он казался несколько долговязым в своем мундире. Младший уже последний год выкрикивал в хедере стихи талмуда. К нему уже ходили и учителя, подготавливавшие его в гимназию.

Девочка была одета, как куколка, и красива, как мать. Ее голова была слегка запрокинута, и нижняя губка чуть-чуть выдвигалась вперед, что придавало ей вид некоторой надменности. Звали ее Маней.

Когда мы вышли в сад, некоторое время в нашем маленьком обществе господствовала натянутость. Маня нашлась скорее: она подошла к клумбе и стала любоваться цветами... У них при квартире не было цветов. Как они называются? Сестра стала называть цветы. «Отец очень любит цветы, и вот эти — его любимые. Он сам за ними ухаживает, когда свободен...» Разговор завязался. Гостья наклонялась к цветам, как маленькая принцесса.

У нас, мальчиков, дело шло труднее: некоторое время мы ходили по аллеям смущенные и неловкие. Не знаю, как обошлось бы это первое знакомство и не кончилось ли бы оно охлаждением и скукой, если бы его не облегчило постороннее вмешательство. Из сада нашего соседа, г-на Дробыша, внезапно перескочил через забор единственный его сын, Степа Дробыш, мой одноклассник, и остановился в удивлении при виде незнакомых посетителей. Но долго удивляться было не в обычае этого моего развязного приятеля.

— Кто это у вас такие? — спросил он без церемонии. — А, этого я видел, продолжал он, подавая руку старшему. — Он из нашего класса, только второго отделения... А это что за «вусьдыс»?³ И какие у него смешные пейсы!

Он повернулся к младшему, оглядел его с ног до головы и, неожиданно протянув руку, тронул один из пейсов.

Маленький лапсердачник вспыхнул. Глаза его засверкали, как острые гвоздики, и быстрым кошачьим движением он кинулся на обидчика. Дробыш стоял у края клумбы. При неожиданном толчке он запнулся и упал назад, сломав любимые цветы дяди. Это очень сконфузило Дробыша. Он поднялся и стал с беспокойством смотреть на произведенные падением опустошения. Его маленький противник стоял, весь насторожившись, ожидая, очевидно, продолжения битвы.

Но Дробыш был малый добродушный и сознавал, что еврейчик был в своем праве. Кроме того — общее сочувствие было не на его стороне.

— И отлично, и отлично, — сказала с негодованием моя сестра. — Надо быть вежливым со всеми, а вы, Степа, грубиян и невежа.

— Ну, что ж... Я и не обижаюсь, — смиренно сказал Дробыш.

Тут он заметил Маню и вдруг остановился с простодушным выражением приятного удивления.

— А это кто у вас, Аничка? Их сестра? Какая хорошенькая! И совсем не похожа на жидашечку.

Маня еще больше запрокинула свою красивую головку, губка ее еще больше выпятилась, и она, повернувшись к сестре, сказала вполголоса, но так, что Дробыш слышал:

— Какой невоспитанный! Терпеть не могу бесцеремонности.

Дробыш засмеялся, хотя и несколько кисло. Но потом отряхнулся и дружески взял за руку недавнего противника.

— Ты молодец, — сказал он, — только дерешься по-кошачьи. Ну, давай познакомимся. Меня зовут Степан Дробыш. А тебя?

— Фроим Мендель, — сказал тот и шаркнул ногой по песку аллеи. Было видно, что так кланяться при знакомстве его научила мать.

— Ну, молодец Фроим. Ах, чорт возьми, я, кажется, разорвал рукав... Ну,

ничего! Скажи, брат: это тебя в хедере, что ли, так научили драться? У нас в гимназии дерутся не так...

— Я в будущем году тоже поступлю в гимназию, — сказал Фроим. — Израиль тоже прежде учился в хедере, а потом поступил в гимназию.

— За коим чортом ходить в хедер? — спросил Дробыш.

— Это потому, — сказал серьезно Израиль, — что мы евреи... Отец хочет, чтобы мы и в гимназии остались добрыми евреями...

— Фью! — свистнул Дробыш. — В гимназии вы будете гимназисты...

— Мама тоже говорит, что в гимназии мы будем гимназисты, как все...-живо подхватил Фроим. -И она зовет меня Альфредом...

— Но ты все-таки останешься Фроим... И тебя так запишут, — строго сказал старший.

— Да, меня так запишут, но звать можно и Альфредом...

Дробыш пригласил всю компанию кататься на плоту в их саду. Девочки пошли кругом через калитку, а нам пришлось перемахнуть через забор. Израиль перелез несколько грузно. Фроим живо подобрал длинные полы, перевязал их в талии фуляровым платком и перебрался очень ловко. Когда он соскочил на другую сторону, все мы кинулись к небольшому пруду, куда вскоре прибежали и девочки. Дробыш хохотал, указывая на Фроима. Его фигура с подобранными полами, в черных чулках и патыночках, была точно маленькая шутливая пародия на взрослого еврея... Смех был так непосредствен, что Фроим нисколько не обиделся. Он провел руками по пейзажам, поднял брови и скорчил гримасу. Маня слегка покраснела, думая, — не надо ли опять усмирить Дробыша, но потом звонко засмеялась и сама. И наше катанье на плоту прошло очень весело.

Когда нас позвали к чаю, мы ввалились в гостиную уже знакомой приятельской гурьбой. У нас были еще гости: г-н Фаворский с супругой. Г-жа Фаворская была родственница губернаторши, г-н Фаворский был ее муж, то есть свойственник губернатора. Это было их общественное положение. В гостиной царствовала некоторая натянутость. Чувствовалось, что г-жа Фаворская слишком старается поддерживать разговор в угоду дяде, который был известен за «человека с идеями»... У г-на Фаворского были огромные усы и очень молчаливый нрав. Когда мы вошли, оживленные и голодные, — г-жа Мендель кинула на нас тревожный взгляд, но тотчас же успокоилась. Все, очевидно, шло хорошо. Знакомство состоялось. Девочки вошли, держась за руки. Фроим, конечно, привлек свой костюм в порядок. Его лицо все еще дышало юмором, и в глазах бегали искорки. Все мы, переглядываясь, чаще всего обращали глаза на Фроима. Г-жа Мендель была удовлетворена. Все шло нормально: и здесь ее любимец стал центром юной компании.

Когда Мендели ушли, Фаворские еще остались.

— Он удивительно, удивительно умеет держать себя — этот еврей, — сказала г-жа Фаворская, обращаясь к дяде, с целью сказать ему приятное. — Такой приличный и столько такта. О, я всегда говорю, что и среди них есть люди... люди... которые...

— Которые умеют уважать себя, и потому их вынуждены уважать другие, сказал дядя серьезно.

— Ну, вот, вот... Он удивительно тактичен...

— И она тоже женщина очень милая, — вставила тетка своим ласковым голо-

сом, слегка растягивая слова.

— Н... да, — протянула г-жа Фаворская снисходительно, но в этом согласии слышалось отрицание. — Не находите ли вы, — обратилась она опять к дяде, — что младшему мальчику больше идет его ермолочка, чем старшему мундир?.. Так хорошо, когда люди знают свое место. Вы... не находите этого? — с некоторой тревогой переспросила она.

— Младший тоже поступит в гимназию, — довольно сухо ответил дядя.

— Да-а? — разочарованно протянула дама. — Но тогда зачем же... Зачем они так одевают его теперь?

— Мендель считает, что раньше, чем поступить в гимназию, они должны научиться быть евреями.

— О, да-да! Им не следует забывать этого... Как их почтенный отец... Он несколько не заносится, не старается держать себя выше своего звания... Не правда ли?

— Его звание — педагог... Оно довольно высокое, — сказал дядя. Было видно, что разговор не совсем ему по душе.

— Да, да! Вы правы. Вы совершенно правы!.. Я всегда говорю то же самое.

И г-жа Фаворская стала горячо целоваться с теткой на прощанье.

С этого дня знакомство наше закрепилось. Приблизительно через год г-жа Мендель зашла как-то к тетке и, точно случайно, захватила с собой Фроима. Он был в новеньком с иголочки гимназическом мундире.

— Какой вы хорошенький гимназистик! — невольно вырвалось у моей Анички.

— Да, в самом деле, он у вас красавчик, — подтвердила тетка, окидывая Фроима внимательно-ласковым взглядом.

Это была правда: одежда сильно меняла к лучшему наружность мальчика. Типично еврейских черт у него было гораздо меньше, чем у отца и брата. Он больше походил на мать и сестру — только в нем не было застенчивости, и глаза сверкали веселым задором. Еврейский акцент в его речи почти исчез, о чем он, видимо, очень старался.

Г-жа Мендель покраснела от удовольствия и кинула на мою тетку взгляд, полный застенчивой благодарности.

— Ну, а как же вы записали его в гимназию. Все-таки Фроим? Как это жаль. Надо было оставить это вместе с ермолочкой... Альфред, Фредди... Положительно, это шло бы к нему лучше...

— Это желание Менделя, — вздохнула она. К концу этого разговора вошел в гостиную дядя. Он тоже полюбовался на Фроима и сказал:

— И отлично, что он остался Фроимом. Не надо отрекаться от имени, данного человеку при...

Он чуть не сказал: при крещении, но спохватился и закончил:

— Данного при рождении. Родился Фроимом, так и оставайся Фроимом. Твой отец прав.

Он хлопнул мальчика по плечу и серьезно посмотрел ему в глаза. Фроим так же серьезно поклонился. Г-жа Мендель могла остаться довольной важной грацией этого поклона.

Тетка осталась при своем мнении, и, когда г-жа Мендель ушла, она сказала дяде, пожав плечами:

— Всегда вы, мужчины, поддерживаете друг друга... Если можно было записать Фредам, пусть бы записали... Они ведь не крестятся. Зачем эти Шмули, Лейбы, Срули?... Это так некрасиво и вульгарно.

— У них имя дается при обрезании. А для еврея это все равно, что для нас крещение.

— Ну уж, — с легкой улыбкой сомнения сказала тетка.

В гимназии Мендели учились хорошо. Старший был склонен больше к математике, младший отлично усваивал языки и историю. Старший был ровно прилежен, у "младшего" плохие отметки то и дело вкрапливались среди блестящих успехов. Он был очень самолюбив, и его сильно задевали насмешки товарищей над отсутствием развязности и неловкостью евреев. Через некоторое время он отлично танцевал и прекрасно бегал на коньках. Порой запоем предавался чтению. Вообще он был неровен, блестящ, возбуждал больше симпатий и навлекал больше наказаний, чем старший брат, который шел без остановок и отступлений.

Тогда еще не было того, что мы теперь называем антисемитизмом, хотя не было и еврейского равноправия. Черта оседлости существовала, как данный факт, незыблемый и не подвергавшийся критике. Впрочем, и многое тогда казалось незыблемым и не подвергалось критике, и оттого все легче было переносить, как судьбу, предназначение, извечное устройство мира. Об изменении положения евреев никто и не помышлял. В этом числе — сами евреи. Я не помню даже, чтобы самое слово «черта оседлости» когда-нибудь употреблялось в то время. Евреи просто жили в известных местах, как испанцы живут в Испании, французы во Франции, а наши крымские татары в Крыму... И казалось, что это удобно... Не было громко заявляемых притязаний, не было и антисемитизма. Не было протеста с одной стороны, не было прямой враждебности с другой. Но в этом спокойствии, под этим не только нерешенным, но даже не поставленным еще ни для одной из сторон «вопросом» дремали возможности и того и другого: и активной вражды, и протеста, и требований равноправия, и... погромов.

Тогдашние гимназии тоже не знали неравенства воспитанников-евреев, в корне извращающего внутренние отношения в товарищеской среде. Педагоги, ругающие своих питомцев жидами и читающие на уроках антисемитские листки, тогда были еще не виданы. Процентная норма не существовала. Учились все, кто имел желание. Наши отношения к соученикам-евреям были по-товарищески просты... В нашем классе был один француз, родители которого недавно приехали в Россию. Он говорил по-русски грамматически правильно, но с грассированием и акцентом. В его старательной речи порой попадались курьезные обмолвки, возбуждавшие смех. Но в этом смехе не было ничего обидного. Это был просто корректив со стороны юной товарищеской среды. Так же нам случалось смеяться над акцентом и ошибками евреев.

Мы узнали Менделей, когда один носил мундир, а другой ходил еще с пейсами и в ермолке. С легкой руки Дробыша, пустившего карикатурное изображение мальчика в лапсердаке и патынках, — младшего Менделя прозвали цадиком. Старшему случилось как-то обмолвиться, — он говорил вообще правильно, но когда его застигали врасплох, в его речи прорывались резкие юдаизмы. Однажды он был погружен в занятия, когда кто-то из товарищей постучался в закрытую дверь. Сначала он не расслышал. Потом, когда настойчивый стук дошел до его слуха, он поднял голову и спросил громко, нараспев: